

Александр Блок

Памяти Леонида Андреева



Александр Александрович Блок

Памяти Леонида Андреева

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?

Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать...»

Содержание

Александр Александрович Блок Памяти Леонида Андреева	0004
#2	0018

Александр Александрович Блок

Памяти Леонида Андреева

Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?

Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать.

Любил я Леонида Николаевича? – Не знаю. Был я горячим поклонником его таланта? – Нет, без оговорок утверждать этого не могу.

Несмотря на все это, я чувствую, что у меня есть одно, длинное и важное, воспоминание об умершем; длинное – потому что мы были «знакомы» или «незнакомы» на протяжении десяти лет; важное – потому что оно связано с источниками, которые питали его

жизнь и мою жизнь.

Воспоминания мои совершенно почти лишены фактического содержания, но связаны с Л. Андреевым мы были, и при редких встречах заявляли друг другу об этой связи с досадным косноязычием и неловкостью, которые немедленно охлаждали нас и взаимно отчуждали друг от друга.

Потому все, что я могу сейчас сказать, будет нерадостно и невесело. Будет рассказ, каких немало, – о людях, которые кое-что друг про друга знали про себя, а воплотить это знание, пустить его в дело не умели, не могли, или не хотели. Я об этом говорю так смело, потому что не на мне одном лежит вина в духовном одиночестве, а много нас – все мы почти – были духовно одиноки.

История тех лет, которые русские художники провели между двумя революциями, есть, в сущности, история одиноких восторженных состояний; это и есть лучшее, что было и что принесло настоящие плоды.

Мне скажут, что были в эти годы литературные кружки, были журналы и издательства, вокруг которых собирались люди одного

направления, возникли целые школы. Все это было, или, скорее, казалось, что было, но все это нисколько не убеждает меня, потому что плодов всего этого я не вижу; плодов этих нет, потому что ничего органического в этом не было. Напротив, прожив в Петербурге последние два года, я все больше утверждаюсь во мнении, что замечательные русские журналы, «Старые годы» или «Аполлон», например, были какими-то сумасшедшими начинаниями; перелистывая сейчас эти перлы типографского искусства, я серьезно готов сойти с ума, задавая себе вопрос, как сумели их руководители не почувствовать, во что превратимся мы, чем станем через три-четыре года.

Но дело не в этом, а в том, что, вероятно, и даже наверно, и эти люди знали одинокие восторженные состояния; знал их и Л. Андреев, но представить себе Л. Андреева вместе с редактором «Старых годов» было бы невозможно; представить их вместе можно было бы лишь в карикатуре. Гораздо ближе были ему некоторые символисты, в частности Андрей Белый и я, о чем он говорил мне не раз. И, несмотря на такую близость, ничего не вы-

шло и из нее.

Связь – моя с Л. Андреевым установилась и определилась сразу задолго до знакомства с ним; ничего к ней не прибавило это знакомство; я помню потрясение, которое я испытывал при чтении «Жизни Василия Фивейского» в усадьбе, осенней дождливой ночью. Ничего сейчас от этих родных мест, где я провел лучшие времена жизни, не осталось; может быть, только старые липы шумят, если и с них не содрали кожу. А что там неблагополучно, что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях, – это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне «Жизнь Василия Фивейского», потом «Красный смех», потом – особенно ярко – маленький рассказ «Вор». О рассказе этом я написал рецензию, которая была помещена в журнале «Вопросы жизни», рецензия попала в руки Л. Андрееву и, как мне говорили, понравилась ему; что она ему должна была понравиться, я знал – не потому, что она была хвалебная, а потому, что в ней я перекликнулся с ним, – вернее, не с ним, а с тем хао-

сом, который он в себе носил; не носил, а таскал, как-то волочил за собой, дразнился им, способен был иногда демонстрировать этот подлинный хаос, как попугая или комнатную собачку, так что все чопорные люди, окружающие его (а интеллигенция была очень чопорная, потому что дров она тогда еще не рубила и ведер с водой на седьмые этажи не таскала), окончательно переставали верить в этот подлинный хаос.

Так вот перекликнулись два наши хаоса, и вышло, что ко времени личного знакомства Леонид Андреев уже знал, что существует такой Александр Блок, с которым где-то, как-то и для чего-то надо встретиться и он окажется не чужим.

Только что кончил я курс в университете и превратился в литератора, который, как и другие, ходил в штатском платье и просил авансов в разных местах. При одном из таких случаев, совершенно не помню где, познакомились мы с Леонидом Николаевичем. Знакомого хаоса никакого я не нашел, передо мной был просто очень известный уже писатель; я страшно стеснялся всех известных писате-

лей; Андреев тоже не знал, должно быть, с чего начать разговор. Скоро он пригласил меня к себе; я пошел; Андреев жил на Каменноостровском, в доме страшно мрачном, в котором, я знал, есть передвижные переборки у комнат.

Я помню хлещущий осенний ливень, мокрую ночь. Огромная комната – угловая, с фонарем, и окна этого фонаря расположены в направлении островов и Финляндии. Подойдешь к окну, – и убегают фонари Каменноостровского цепью в мокрую даль.

В комнате – масса людей, все почти писатели, много известных; но о чем говорят, неизвестно; никто ни с кем не связан, между всеми чернеют провалы, как за окном, и самый отделенный от всех, – самый одинокий – Л. Н. Андреев; и чем он милее, чем любезнее, как хозяин, тем более одинок. Вот и все впечатление, которое у меня осталось. Оно усугубляется еще пригласительным письмом, которое составлено в шуточной форме; – так шутить очень мило, это показывает, как просто ведет себя известный человек, и все улыбнуться, но никому не станет весело.

В тот вечер на фоне мокрой дали с цепочками фонарей был мне мил Л. Андреев, милее, чем в некоторые другие разы, потому что он, сколько я помню, был прост и немного застенчив и не демонстрировал своего хаоса, своей страшной комнатной собачки, которая тем и страшна, что, когда ее увидишь, не испугаешься, а невидимую – чувствуешь.

Описанный вечер был осенью 1906 года, а в 1907 году, «во второй половине сезона» была впервые поставлена у Коммиссаржевской, в театре на Офицерской, «Жизнь Человека», произведение, которое очень глубоко задело Андрея Белого и меня. Опять я помню при этом не Леонида Андреева, знаменитого человека в куртке особого покроя, а его атмосферу, тот воздух, который окружал его и который сумели тогда перенести на сцену так, как не сумели этого сделать позже даже в Художественном театре. Было в некоторых актерах и в режиссере труппы Коммиссаржевской что-то родственное Андрееву; даже слабым довольно актерам удалось разбудить в себе тот хаос, который так неотступно следовал за ним.

В «Жизни Человека», как во всем ряде произведений Андреева, который открывается этой пьесой, поставлен нелепый, досадный вопрос, который предлагают дети: «Зачем?». Что ни скажешь ребенку, он спрашивает: «Зачем?». Взрослые на этот вопрос ничего не в состоянии ответить; но они также не в состоянии признаться в том, что они не могут ответить на этот вопрос. Просто – «глупый вопрос», «детский вопрос»; вот то, что мне лично кажется самым драгоценным в Л. Андрееве; он всегда задавал этот вопрос, и был трижды прав, задавая его, потому что вот сейчас этот самый вопрос задает цивилизации великое дитя – Россия, а ответить на него так, чтобы за ним не последовало опять второе, равнодушное, полукапризное «Зачем?» – никто не может.

Леонид Андреев задавал этот вопрос от самой глубины своей, неотступно и бессознательно. Сознательно он, чем дальше, тем больше, умствовал и сам способен был ответить на него не раз взрослее взрослого, глупее глупого. Но была в нем эта драгоценная, непочатая, хаотическая, мутная глубь, из которой

кто-то, в нем сидящий, спрашивал: «Зачем? Зачем? Зачем?», и бился головой о стену большой, модно обставленной, постылой хоромины, в которой жил известный писатель Леонид Андреев, среди мебели нового стиля.

Кажется, «Жизнь Человека» в этом смысле – самая автобиографическая пьеса. Мне привелось смотреть ее со сцены, чем я обязан режиссерским трюкам Мейерхольда. Никогда не забуду потрясающего впечатления от первой картины. Была она поставлена «на сукнах». В глубине стоял диванчик со старухами и ширма, а впереди – круглый стол со стульями кругом. Сцена освещалась только лампой на столе и узким круглым пятном верхнего света. Таким образом, стоя в темноте, почти рядом с актерами, я смотрел на театр, на вспыхивающие там и сям рубины биноклей. «Жизнь Человека» шла рядом со мной, рядом пронзительно кричала в родах мать, рядом нервно бегал по диагонали доктор в белом фартуке с папироской; и, главное, рядом стояла четырехугольная спина «Некто в сером», который из столба матового света бросал в театр свои слова.

Эти слова казались и кажутся многим пошлостью. Я помню, что они смертельно надели и великолепно произносившему их актеру – К. В. Бравичу, тоже уже покойному теперь. Но что-то есть в этих словах, что меня до сих пор волнует:

«Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека с ее темным началом и темным концом. Доселе не бывший, таинственно сохраненный в безграничности времени, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем...»

«...Ледяной ветер безграничных странств бессильно кружится и рыскает; колебля пламя, светло и ярко горит свеча. Но убывает воск, снедаемый огнем. Но убывает воск...»

«...И вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте: вот далеким и призрачным эхом пройдет перед вами, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь Человека».

Андрей Белый называл то, чем проникнута эта пьеса, «рыдающим отчаяньем». Это –

правда; рыдающее отчаянье вырывалось из груди Леонида Андреева не раз, и некоторые из нас были ему за это бесконечно благодарны.

Помню потом также поразившую меня «Повесть об Иуде». Потом меня ничто уже не поражало, но я твердо знал, «о чем» Леонид Андреев, и Леонид Андреев знал, о чем мы бы могли с ним быть. «О чем быть», – говорю я, а что это значит, – не знаю, и он не знал. Через год писал мне Андреев: «Сколько раз я к Вам собирался, как хотел Вас повидать, – и все не приходится, все не приходится... Почему мы с Вами идем против судьбы?» – Но мы не увидались.

Прошел еще год, он, как будто, нашел реальный повод для нашей встречи (это была моя пьеса «Песня Судьбы», которая ему, впрочем, очень не нравилась), но и из этого ничего не вышло. Я ему ответил, не желая обижать его, но он немножко обиделся. Это был уже 1909 год; тучи реакции сгустились. Я тогда уехал в Италию, где обожгло меня искусство, обожгло так, что я стал дичиться современной литературы и литераторов заодно.

Еще много было причин, почему я почти со всеми перестал видаться и ушел в свои «одинокие восторги». Леонид Андреев тем временем тоже уже был другой, в нем накопилось много всякой обиды, слава его была громка, но критика его не щадила, а он был к ней странно внимателен.

В 1911 году опять почему-то вспомнил он меня – поводом было одно из моих стихотворений. «Нужно ли это писать Вам или нет, не знаю, – прибавляет он в письме, – может, и не нужно». Прислал «Сашку Жегулева», я ему, кажется, послал книги; тем дело и кончилось; не помню, встречались ли мы еще, до такой степени незначительны были слова, сказанные друг другу, если мы и встречались.

В конце 1916 года вернулся я в Петербург ненадолго в отпуск и нашел очень милое письмо, которым Л. Н. звал меня принять участие в газете «Русская воля», где он редактировал литературный и театральный отдел. В письме этом были слова о том, что газету «зовут банковской, германофильской, министерской – и все это ложь». Мне все уши прожужжали о том, что это – газета протопоповская,

и я отказался. Л. Н. очень обиделся, прислал обиженное письмо. Отпуск мой кончился, и я уехал, не ответив. На том и кончилось наше личное знакомство – навсегда уже.

Сравнительно с тем, что знали мы с Андреевым друг о друге где-то в глубине, – все встречи и письма, а тем более разговоры о иудаизме, Протопопове, германофильстве и т. д. были – сплошным вздором, бессмысленной пошлостью. И однако, если бы сейчас оказался в живых Л. Н. и мы бы с ним встретились, мы бы также не нашли никаких общих тем для разговора, кроме коммунизма или развороченной мостовой на Моховой улице.

Мы встречались и перекликались независимо от личного знакомства – чаще в «хаосе», реже – в «одиноких восторженных состояниях». Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону островов и Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним любили

одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостя в черной маске – смерть.

